

ГЕОРГИОС ВИЗИИНОС

12+



МАТЬ

греческая новелла XIX века

Георгиос Визинос

Мать

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=64866977

SelfPub; 2021

Аннотация

Греческая литература конца XIX столетия представлена выдающимися прозаиками, чьи новеллы и повести переводились на многие европейские языки и достаточно хорошо известны европейскому читателю. Опыт переводов произведений Эммануила Ройдиса, Георгия Визиноса, Иоанна Кондилакиса, Аргириса Ефталютиса на французский, английский и немецкий языки насчитывает уже целое столетие, многие произведения переводились неоднократно, поэтому имеют собственную богатую переводческую традицию. На русский язык представленные в серии произведения переведены с языка греческих подлинников впервые и дают российскому читателю уникальную возможность познакомиться с замечательными именами новогреческой литературы конца XIX века. О переводчике: Бондаренко Василий Юрьевич – выпускник Салоникского государственного университета им. Аристотеля. Литературный переводчик. Длительное время проживал в Греции. Преподаёт древнегреческий и новогреческий языки. Автор научных статей по древнегреческой филологии.

Георгиос Визинос

Мать

Повесть

Кроме Анюты не было у меня сестёр, а в нашей маленькой и неполной семье именно она стала всеобщей любимицей. Больше всех её обожала мать. За столом всегда посадит подле себя, и доставались ей всякий раз самые лакомые кусочки. Одежду мы с братьями донашивали из перешитых остатков, что перепали нам от покойного отца, но для Анюты мама непременно покупала новую. Да и по учёбе тоже не особенно её заставляла: когда есть настроение, Анюта ходила в школу, а если нет – мать запросто могла оставить её дома. Нам же этого ни при каких обстоятельствах не позволялось.

Такая исключительность должна была наверняка породить ревность у меня и моих братьев, к тому же на тот момент мы были ещё совсем маленькими, однако мы прекрасно понимали, что в глубине души мама каждого из нас нежно любит – всех одинаково и всегда беспристрастно. Мы даже и не сомневались, что все эти вольности были ничем иным, как внешним проявлением трогательной и естественной материнской заботы о единственной в нашем доме девочке. Оттого и речи не могло идти об обидах и каком-то безропотном

с нашей стороны терпении, наоборот, мы всячески, насколько могли, потакали этим отношениям.

Существовала на то и особая причина: маленькая Аня, к нашему огорчению, с самого рождения была хворой. И даже самый младший из братьев, осиротевший сразу же по рождении, так и не узнавший отца и точно заслуживающий большей, чем кто бы то ни было из нас материнской ласки и внимания, полностью передал сестре все свои привилегии и сделал это искренне и с радостью. Аня же никогда не пользовалась этим преимуществом – не было в ней ни высокомерия, ни заносчивости, ни пренебрежения к нам. Напротив, всегда приветливая, она любила нас с восторгом и упоением. И, что самое удивительное, её нежные сестринские чувства не только не угасали по мере истощения её физических сил, но неизменно крепили и возрастали с каждым днём.

Я часто вспоминаю её здоровущие тёмно-карие глаза, а ещё изумительные, изящно сходящиеся на самой переносице брови, которые будто бы непрерывно насыщались чернью и синевой на её неизбежно блекнущем личике. Обычно растерянное и грустное лицо сестры начинало светиться и преобразалось от радости, когда мы собирались у её кровати. Возле подушки она хранила гостинцы, чаще всего фрукты, что приносили ей навещавшие нас соседи – тайно от матери Аня раздавала их нам, когда мы возвращались из школы, а мать очень сердилась и не позволяла нам накидываться на предназначавшиеся сестре угощения.

День ото дня состояние нашей Анюты усугублялось, а потому и забота о ней забирала все больше и больше материнских сил и времени.

С тех пор, как умер отец, мама вообще не покидала пределов нашего дома. Овдовела она очень рано, а по здешним обычаям, особенно для турчанок, что составляли значительную часть нашего окружения, считалось зазорным пользоваться благами личной свободы, а потому такое строгое поведение для многодетной матери воспринималось как норма. Но стоило оказаться Анюте прикованной недугом к кровати, мать пошла даже против собственных правил и принципов...

Если ей вдруг случалось прознать, что кто-то переболел чем-то похожим, она, не задумываясь, устремлялась туда всё разузнать, всё выведать: как же это так получилось, что этот человек сумел вылечиться? Услышит от соседей про старушку, что держит у себя дома целебные травы, – тут же к ней торопится и обязательно купит для Анюты какое-нибудь чудо-зелье. А однажды к нам на село заявился странник: был он чудаковатым на вид, но молва про него ходила, что во многом сведущ и обо всём мнение собственное имел – мать сразу же сорвалась к нему спросить и его совета. У нас ведь в народе как повелось: если ты "грамотный", то точно – целитель, а уж в облике убогого бродяги непременно должен скрываться неведомый миру ангел с необычайными способностями.

Вот и толстый соседский парикмахер завёл привычку навещать нас, не дожидаясь приглашения – он был единственным учёным лекарем на всю округу. На меня же возлагалась повинность: завидя его, бежать в лавку за "обеспечением", коль скоро он даже подойти к больной не решался, не приняв, по крайней мере, две-три стопочки раки.

– Старый я совсем, дорогуша, – обращался он к моей матери, – если не тяпнуть хоть чуток, глаза мои нисколечко не видят.

По правде сказать, недалёк он был от истины: чем больше ему удавалось выпить, тем легче получалось разглядеть самую толстую на нашем дворе куру и, уходя, прихватить её с собой.

И хотя мать перестала пользоваться его врачебными рецептами, она всё ж таки продолжала исправно и безотказно платить ему. Ей крайне не хотелось его расстраивать, а ещё частенько он находил нужные слова утешения: всё, мол, у Анюты благоприятно, недомогание рано или поздно пройдёт, и в его науке уж и нет особой надобности.

Все эти предсказания, к сожалению, не имели ни малейшего отношения к истинному положению вещей. Состояние Анюты мало-помалу осложнялось, пусть и неспешно, но хворь прогрессировала, и этого уже нельзя было не заметить. Из-за неизбежности и безысходности мать сделалась сама не своя.

Всякая болезнь, чтобы считаться ей обычным людским

недугом, не должна и не может устоять от местных пусть и незатейливых снадобий и уж на худой конец, если она неизвестна в народе, мирно и в короткий срок приведёт болящего к смерти. А ежели хворь всё лечат и лечат, но она не сдаётся, то называют её сверхъестественной или "потусторонней". Стало быть, девочка как-то невзначай оказалась в дурном месте: могла в ночи долго просидеть у речки, покуда всякая тамошняя нежить совершала свои страшные таинства, а всего вероятнее, что растревожила эту самую нечисть, когда случайно перешагнула через чёрную кошку.

Мою мать можно назвать скорее набожной, чем суеверной, а оттого она решительно отвергла предложенные ей ворожбу и магические обряды, дабы, не дай бог, не согрешить. Да и наш сельский священник поспешил прочесть над Анютой молитвы по изгнанию всякой скверны. Но спустя некоторое время мама всё же сдалась. Болезнь усиливалась, и материнские переживания начисто преодолели её праведную богобоязнь: церковь и колдовство взялись крепко за руки. Рядом с нательным крестиком мама повесила на шею Анюты оберег с загадочной арабской вязью. На помощь святым мощам пришли амулеты и заклятия, а церковные требы сменились заклинаниями знахарок. Всё было тщетно! Самочувствие сестры неуклонно ухудшалось, да и сама мать изменилась до неузнаваемости: иногда казалось, что она напрочь забыла о нашем существовании, о том, что у неё есть ещё и мы. Где и с кем мы проводим время? Кто с нами нянчился, за-

нимался нашим воспитанием – мать даже и слушать ничего не хотела... Одна местная одинокая старушка, что уж много лет кормилась у нас, старалась по мере сил заботиться о нас, насколько ей это позволяли её мафусаиловы годы.

Иногда целыми днями мы не виделись с мамой: то она отправится по чудотворным местам, набрав тесёмок от сестрино-го платья, чтобы подвязать их узелком у каждой святыни, что есть в округе, в надежде подальше прогнать порчу от бо-лящей; то она ходит по окрестным церквам – поставить по большой восковой свече в честь их престольного праздни-ка. Свечи отливала она собственными руками, с усердием и точно по росту Анюты. Однако все старания были напрасны. Болезнь несчастной нашей сестры оказалась неизлечимой.

Когда все известные средства были исчерпаны и все ле-карства испробованы, мама прибегла к самой крайней из мер, что применялись в подобных обстоятельствах.

Взяв в обнимку на руки бледную и истощённую злой бо-лячкой дочку, мать понесла её в церковь. Нам с моим стар-шим братом было велено следовать за ними, взвалив на себя всевозможные подстилки и матрасы.

Внутри храма на сырых и холодных плитах, прямо перед иконой Богоматери мы бережно уложили самое дорогое, что у нас было, кто уже столько времени стал предметом наших самых сокровенных забот – нашу единственную и горячо лю-бимую сестру!

Все вокруг уж давно нас убеждали, что у сестры в теле

что-то потустороннее. Теперь даже у матери не оставалось сомнений, а напоследок и сама Аня то и дело затевала об этом разговор.

На сорок дней и ночей мы должны были поселиться в церкви, напротив алтаря пред лицом божьей матери, возлагая своё упование на её щедроты и милость, чтобы спастись от дьявольской страсти, что выела себе дупло и подтачивает пагубой нежное древо детской жизни. Сорок дней и ночей – именно столько может продержаться бесовское упрямство в невидимой духовной брани с божественной благодатью, а после всякое зло навсегда отступает посрамленным.

Много рассказывалось и о том, как страждущие испытывали в своём теле мучительные судороги смертельной битвы и даже видели самого вражину, в странном облики бегущего вон, и особенно когда, возглашая: "со страхом божьим...", священники проходят чрез Святые врата. Счастливы те, у кого ещё сохранялись силы вынести эту страшную схватку: ослабленный физически, редко кто выдерживает величие происходящего в его теле чуда. Однако нет и не бывает в них сожаления, коль скоро, теряя жизнь и плоть, человек обретает нечто более ценное – спасает свою душу...

Предчувствие тяжелейших испытаний повергло нашу мать в ужасную панику, она начала суетиться и не отходила от Ани с расспросами об её самочувствии. Святость места, вид святых икон, благоухание ладана подействовало поначалу благоприятно на унылое настроение сестры, и с пер-

вых же секунд она оживилась и даже принялась шутить с нами.

– С кем из братьев тебе хочется сейчас поиграть? – спросила ласково мать, – с Мишуткой или с Георгием?

Анюта как бы в шутку с укоризной посмотрела на мать, словно упрекала за пренебрежение к нам, и ответила ей не по-детски степенно и уверенно:

– Так, значит, я должна выбирать одного из двух?! По отдельности я никого не хочу! Все братья мне нужны рядышком, сколько бы их ни было!

Мать смутилась и замолчала.

А чуть погодя, привела и самого младшего в церковь, но лишь в самый первый день. В тот вечер только меня мама оставила с собой на всю ночь.

До сих пор отчётливо помню свои детские впечатления: тусклый свет иконостасных лампад, едва ли освещающий сами иконы и солею, ещё больше создавал ощущение тревожного и густого сумрака, который окутывал нас и погружал в кромешную тьму.

Всякий раз, как подёргивались огоньки лампад, мне грезилось, что изображённые на иконах святые в своих широких и длинных одеждах, с нимбами и отрешёнными бледными лицами, с тяжёлыми и пристальными взглядами, оживали вдруг, начинали копошиться, силясь оторваться от доски и спуститься к нам. А когда неистовый ветер рвался сквозь высокие оконные проёмы, яростно дребезжа кусочками стек-

ла, мне казалось, что это усопшие повылазили из окрестных могил, взобрались по стенам и норовят пробраться внутрь. Меня трясло от страха. Неожиданно я увидел, как из темноты сюда тянется мертвец, выставив вперёд к нашему мангалу свои костлявые пальцы.

Но я всеми силами старался и виду не показать, чтоб не выдать своего беспокойства. Я очень любил сестру и предпочел бы всё перетерпеть, дабы остаться возле них с матерью. К тому же я знал, что мама, не задумываясь, отправила бы меня домой, догадайся она о моих страхах.

В следующую ночь я тоже держался как мог, сопротивляясь ужасам вокруг со всей стойкостью и ответственностью за возложенные на меня обязанности.

В церкви я присматривал за огнём, приносил воду, подметал по будням, а по праздникам или в Воскресение на утрени подводил сестру под Евангелие, когда оно читалось священником перед открытыми Царскими вратами. На литургии расстилал покрывальце, куда сестра ложилась ниц, чтобы со Святыми дарами могли пройти прямо над нею. На отпуске я относил подушку прямо к дьяконским дверям, чтобы Аня могла встать там на коленки и принять на себя епитрахиль с поручами от разоблачающегося священника и дожидаться благословения проскомидийным копием и молитвой: "Распёншуся Ти Христё, погйбе мучйтельство, и попрána бысть сила вражия», которая произносилась тихо, почти шёпотом.

За мной неотступно своими медленными и неуверенны-

ми шажками, сопровождаемая сочувствующими взглядами, следовала моя бедная сестра – бледная и грустная, и это побуждало прихожан ещё усерднее молиться о её выздоровлении, которого мы всё никак не могли дожидаться.

Напротив, сырость, холод, непривычная обстановка, и, конечно же, жуткие, пугающие ночи вскоре оказали пагубное воздействие на её слабый организм, и её состояние серьёзно ухудшилось, внушая самые тяжелые предчувствия. Мать это понимала и теперь вообще стала демонстрировать полное безразличие ко всему, что не имело отношения к дочери. Даже думать, разговаривать не хотела, если это не было связано с Анютой или со святыми, которым она впредь самозабвенно молилась.

Как-то я оказался возле неё и оставался незамеченным в ту минуту, когда она на коленях молилась перед иконой Спасителя:

– Возьми что хочешь, но не забирай у меня дочку. Вижу, что к тому всё идёт! Вспомнилось тебе о моём грехе и уж готов отнять ребенка... наказать меня?! Спасибо тебе, Господи!

На какое-то мгновение мать умолкла, и среди глухой тишины ощущался каждый её вздох и всхлип, и я, казалось, мог различить как каплют на пол её тяжелые слезы. И ещё через секунду, преодолевая гортанный спазм, она добавила:

– Двоих детей принесла сюда к твоим ногам... оставь мне девочку!

От услышанного ледяная жуть оцепенением сковала мои нервы и отозвалась гулом в ушах. Я уже ничего не понимал. В какой-то момент мать, охваченная агонией, распласталась на сыром мраморном полу, я же вместо того, чтобы поспешить к ней на помощь, бросился из церкви в слезах и вне себя от горя: рыдание и крик разрывали мое горло, будто уже сама Смерть в зловещем ожидании невидимо склонилась надо мною. Зубы стучали мелкой дрожью, а я все бежал и бежал, боясь преследования и задыхаясь от усталости. Неожиданно я оказался очень далеко от церкви, только тогда я остановился и позволил себе оглянуться. Позади никого не было. Я рухнул в траву.

Потихоньку я пришел в себя и начал размышлять о случившемся. Мою память будоражили воспоминания о ласке, нежности и любви, что я питал к матери. Я попытался вспомнить, может, был виноват перед ней в чём-то или какой несправедливостью расстроил её, но ничего не приходило на ум. Наоборот, с того самого дня как родилась сестра, я не только не получал родительского внимания, о котором горячо и отчаянно мечтал, но всё больше и больше оказывался незамеченным. Вспомнилось ещё, что и отец имел привычку называть меня "бедолагой". От гложущей меня досады я снова заплакал: "Мама не любит меня! Я не нужен ей! Никогда не пойду в церковь!" Поднявшись, я, полный обиды и разочарования, поплёлся обратно в посёлок.

Вместе с сестрой на руках мама почти сразу отправилась

на мои поиски. Получилось так, что испуганный моим истошным криком священник, войдя в храм, осмотрел большую и посоветовал матери незамедлительно возвращаться домой.

– Господь великодушен, дочь моя, – обратился он к матери, – милосердие его повсюду. Если суждено ребёнку поправиться, то это и под домашним кровом всегда произойдёт.

Мать, к сожалению, вынуждена была его послушаться! А были ж то самые расхожие, самые заурядные отговорки, которыми по обычаю священники выпроваживали умирающих, чтобы, не дай-то бог, не кончился кто в церкви и не осквернил святого места.

Когда я вновь увидел маму, она показалась мне как никогда потерянной и печальной. Со мною же обращалась с особенной чуткостью и вниманием. Она взяла меня к себе на руки, ласково обняла и целовала много и нежно: казалось, что очень старалась загладить вину.

В тот день не мог я ни есть, ни спать. Всю ночь я пролежал в кровати с закрытыми глазами, но слух мой напряжённо отслеживал каждый шорох, каждое мамино движение, а она, как и прежде, не сомкнув глаз, просидела у изголовья больной сестры.

Это было около полуночи, когда мне показалось, что мама начала готовиться ко сну, стелить постель, ходить из комнаты в комнату, но вскоре всё опять успокоилось и до меня донеслось её приглушенное скорбное причитание. Я узнал этот

мотив – это был поминальный плач по отцу: ещё давно, до болезни Анюты, мать не раз пела его, но после стольких лет я услышал его впервые. Этот напев сразу же после кончины отца придумал по её просьбе один нищий цыган – чёрный как смоль оборвыш известный в нашей округе за свои таланты сочинять и импровизировать. Мне кажется, что я до сих пор могу живо представить себе его грязные и засаленные волосы, маленькие пытливые глазки и торчащую из рубашки волосатую грудь.

Обычно он сидел у входной двери нашего дома, заваленный медной утварью, что удалось насобирать по соседям для чистки, и, склонив голову набок, вырисовывал голосом мелодию, подбирая на ходу подходящие по смыслу слова, временами подыгрывая себе на изрядно потёртой и плаксивой трёхструнной лире. Перед ним подолгу в слезах стояла мать, посадив маленькую Анюту на руки, и внимательно слушала. Я же крепко держался за полы её длинного платья, пряча своё личиком в крупных складках: сколь мелодичны и приятны уху были чарующие мотивы, столь же страшен и отвратителен казался вид этого дикого песняра.

Как только после нескольких попыток у матери получилось исполнить наизусть это горькое упражнение, она вытащила из отворота платка десять серебряных курушей и подала бродяге – денег тогда у нас было достаточно. После собрала ему отдельно хлеба, вина и всяческой еды, что была по случаю на нашем столе. Пока тот ел, мать у себя в комна-

те повторяла по строкам всё целиком, дабы не упустить ни слова. Было видно, что ей понравилось сочинение, потому как, прощаясь, она подарила ему двое выходных шаровар, что сохранились от отца.

– Да упокоится душа его с миром, дочка, – обрадовался бродяга и, обвесившись медной посудой, вышел за ворота.

Эту самую поминальную молитву и пела в ту ночь моя мама, а я, затаив дыхание, вслушивался в тоскливые звуки, и невольные слезы стекали по щекам на подушку, но я не решался даже пошевелиться. Вскоре по всему дому разнёсся аромат ладана.

– Ах! – осенила меня жуткая догадка, – наша Анюта умерла!

Тотчас я вскочил с кровати и кинулся в комнату, где обнаружил престранную картину: рядом с сестрой, которая была жива, но по обыкновению тяжело дышала, на самой её кровати была разложена мужская одежда в том порядке, как она обычно носится. Справа стояла скамья, покрытая чёрной тканью, а на ней большая пиала воды и две зажжённые лампадки. Мать, стоя на коленях, окаживала разложенные вещи и читала молитвы над водою. Кажется, я побледнел со страху от увиденного, потому что мать тут же бросилась меня успокаивать:

– Не бойся, сынок, – произнесла она возбуждённо шёпотом, – это одежка твоего отца. Давай с тобой вместе попросим его прийти и исцелить нашу Анюту.

Я опустил на колени подле неё:

– Сделай так, чтобы выздоровела Аня! Забери лучше меня! – сквозь слёзы, разрыдавшись, принялся молиться я, поглядывая с укором на мать и показывая ей всем своим видом, что мне известно, как она заклинала о моей смерти вместо сестриной. Разве мог я тогда, глупый, осознать, что тем самым доводил её до крайней степени отчаяния! Надеюсь, что она смогла меня за это простить. Был я ещё очень мал, чтобы понимать, каких мук натерпелось её сердце.

После нескольких минут глубокой тишины она вновь по-кадила одежду и с особенной тщательностью пиалу, в которой вода была налита прямо до самых краёв.

Неожиданно подлетел мотылёк, начал виться кругами и в какой-то момент коснулся воды, от мягкого прикосновения гладь вздёрнулась легкой рябью и вновь застыла. Мать перекрестилась и почтительно поклонилась, в точности как на выносе святых даров в церкви.

– Ты тоже, сынок! – шепотом обратилась она ко мне, богобоязненно опустив голову и не поднимая на меня взгляда.

Я инстинктивно послушался.

Покружившись ещё немного, мотылёк исчез в потёмках комнаты, мама облегчённо вздохнула и бодро поднялась с колен – лицо её улыбалось.

– Это отцова душа здесь была, – сказала она с чувством, исполненным любви и восхищения, продолжая взглядом ловить мотылька, затем аккуратно взяла пиалу, сделала

несколько глотков и дала мне.

Мне тут же вспомнилось, что уже неоднократно нам приходилось по утрам пить воду из той же пиалы сразу же по пробуждению. А ещё всякий раз, как такое случалось, мать на протяжении целого дня оставалась в приподнятом настроении и казалась жизнерадостной, словно каким-то особенным образом она делалась вдруг счастливой.

Напоив меня, она подошла к постели Анюты. Сестра не спала, но словно пребывала в нелепой полудрёме. В её полуоткрытых веках сквозь густые и чёрные ресницы странным и неестественным отблеском горели глаза. С особой осторожностью мама приподняла за спину исхудавшее тело дочери и, придерживая её одной рукой, поднесла пиалу к её высохшим губам:

– Ну давай же, радость моя, отпей хоть глоточек! Тебе нужно выздороветь.

Сестра не открывала глаз, но нам стало ясно, что она всё слышала и поняла значение маминых слов: тёплой, притягательно нежной улыбкой дрогнули уголки её рта. Она постаралась хоть чуточку отпить той воды, что была для неё преисполнена целебной силы. Пригубив глоточек, Аня полностью разомкнула веки и всё тщицалась сделать глубокий вдох, но вместо этого издала приглушенный стон и безжизненно повисла на маминой руке. Несчастливая моя сестра! Вот и избавилась она от своих страданий!

Со смертью отца мою маму осуждали, потому как жен-

щине положено громко рыдать на могиле мужа – она же неслышно сидела и тихо плакала. Совсем юной была, когда овдовела, и очень боялась, как бы не упрекнули её в чём: а вдруг пенять начнут за чрезмерность и излишества. А когда умерла сестра, мама не была уж сильно старше, но ей теперь было безразлично, что скажут люди за её душераздирающий плач.

Все наши соседи один за другим приходили её утешить, но горе её было огромным и скорбь безотрадной.

– Совсем помешаться может, – шептались между собой знакомые, видя, как мать убивается в слезах между двух дорогих ей могил – мужа и дочери.

– Эх, совсем осиротеют, бедные, – брошенные теперь, и ухаживать некому.

Потребовалось время, понадобились вразумления и увещевания священника, дабы привести её в чувство, чтобы вспомнила она и о живых детях, чтобы взялась за домашние хлопоты.

Меж тем, только тогда я осознал, как основательно нас потрепала затяжная болезнь сестры. Наше денежное состояние было вчистую растрчено на врачей и лекарства. Даже множество маминых шерстяных покрывал и расшитых её собственными руками накидок были распроданы за бесценок или отданы каким-то шарлатанам, знахарям и колдунам. А бывало и так, что эти проходимцы, воспользовавшись моментом, пока жили в нашем доме, нас просто по-тихому

обкрадывали. А к довершению, хозяйство напрочь развалилось, и мы полностью лишились средств к существованию.

На удивление всё это не только не испугало нашу мать, но даже придало ей уверенности – ещё большей, чем до того, как захворала Анюта: мать смогла найти в себе силы справиться с горечью и тоской на сердце и засучив, как говорится, рукава так принялась за труды, словно её руки никогда не знали недостатка и благополучия в жизни.

Долгие годы она кормила и одевала нас, не помышляя ни о покое, ни об отдыхе. Жалование её было маленьким, а нужды наши огромными, но никого из нас она не допускала к своей работе и помощи не требовала.

Нередко вечерами мы семьёй собирались у камина и мечтали о будущем. Старший брат хотел продолжить отцово ремесло и считал своим долгом взять на себя обязанности главы семейства. Мне всё чаще грезились путешествия в чужие края. Но прежде всего нам нужно было выучиться в школе. Мать частенько повторяла: "Человек неучёный, что топор неточёный".

Положение наше сделалось совсем скверным, когда на страну обрушилась засуха и повсеместно выросли цены на продукты. Однако мама и не думала впадать в уныние или испытывать тревогу о нашем пропитании, наоборот, поспешила увеличить количество ртов ещё на одного человека, приведя в дом незнакомую девочку, которую, ко всему прочему, после долгих стараний ей наконец-то удалось удоче-

ритель.

Это событие заметно изменило наш уклад и порядки, привнеся странное разнообразие в монотонные и строгие семейные будни. Обряд удочерения оказался настоящим праздничным приключением. Мать впервые за многие годы надела свои прежние наряды и украшения. Нас отвела в церковь по-воскресному одетыми, сверкающими чистотой и красиво причёсанными, словно на святые таинства. После окончания литургии мы всем приходом, а были там и настоящие родители девочки, встали напротив иконы Вседержителя, и мать торжественно приняла ребёнка из рук священника, пообещав во всеуслышание, что «хочет полюбить и воспитать сие чадо, равно оно плоть от плоти её кровное».

В исключительно торжественной обстановке прошло приобщение ребенка к новой семье и дому. От самой церкви процессию возглавляли сельский старейшина вместе с мамой и девочкой, а за ними потянулись остальные. Наши собственные родственники и родные нашей новой сестры внушительной толпой сопровождали нас прямо до дверей дома. На пороге старейшина поднял девочку высоко над головами, как бы демонстрируя её всем присутствующим, затем громко спросил:

– Кто из сродников, своячениц или родителей ребёнка полагают себя самих важнее для девочки, чем Деспина, покойного Михаила супружница, и ихние дети?

Отец девочки выглядел совсем бледным и, потупив

взгляд, уныло глядел перед собой. Его жена, уткнувшись в мужнино плечо, тихо рыдала. Мою же маму всю, казалось, трясло на нервах – а вдруг кто запротестует и враз разрушит её счастье! Однако никто не решился ответить старейшине. Тогда девочку в последний раз дали родителям на руки: они обняли, поцеловали ребёнка и удалились навсегда вместе со своими родственниками. Сельский старейшина в компании уже нашей родни был приглашён на застолье.

С того самого момента мать пестовала приёмную дочку, окутав её таким теплом и заботой, какой мы не достаивались даже в самые лучшие годы. Меня в скором времени отправили учиться, я был далеко и часто скучал по близким. Мои братья в изнурительных трудах и нередко без сна и отдыха обучались ремеслу в подмастерьях, а чужая нам девочка чувствовала себя в нашем доме хозяйкой, словно в своём собственном.

Скромных доходов, что приносили братья, хватило бы на то, чтобы дать матери хоть недолгую передышку, но та вместо отдыха всё копила приданое для приёмной дочки и продолжала в поте лица заботиться о ней. Я о многом даже и не догадывался. Ещё до того, как мне посчастливилось вернуться, мать успела вполне позаботиться о чужом ребёнке: вырастить, воспитать и даже отдать её замуж, окружив всецело материнским вниманием, будто та была истинным членом нашей семьи.

Свадьба, с которой, кажется, сознательно поторопились,

стала истинно радостной новостью для братьев – освободившись от мучительного бремени на сердце, они наконец вздохнули с облегчением. И отчасти были правы: девочка не только никогда не питала к ним подлинно сестринских чувств, но и напоследок ответила неблагодарностью женщине, что нянчилась с ней сызмальства и подарила столько нежности и любви, какой зачастую не получают и родные дети.

А потому были на то причины, когда, провожая сестру в её новый дом, братья не испытывали ни капли сожаления и очень надеялись, что и мама вынесла важный урок из всего пережитого. Но каково ж было удивление, когда однажды, почти сразу же после свадьбы приёмной дочери, мать снова приносит в семью девочку – совсем кроху, ещё в пелёнках!

– Несчастливая девчужка! – произнесла с умилением мать, склонившись над дитём и бережно сжимая его в своих объятиях. – Мало того, что, ещё не родившись, отца потеряла, а тут и мать её померла – совсем сиротой сделалась. Ну и как ей теперь – не пропадать же! И с чувством еле скрываемого удовлетворения при столь несчастливых для малышки обстоятельствах она с восторгом предъявила свою добычу онемевшим от изумления братьям.

Сыновье почтение было, конечно, велико, да и авторитет матери непререкаем, но бедные мои братья оказались так сильно разочарованы произошедшим, что не постеснялись выразить своё неудовольствие: сначала уговорами, а под конец уж настаивали, чтобы мать отказалась от своих намере-

ний. Мать не поддавалась. Тогда братья в открытую заявили, что не желают тратиться на чужого для них ребёнка. Страсти накалялись.

– А мне и нет надобности в вашей помощи! – словно отрезала мать. – Я сама буду работать и выращу девочку, как вырастила и вас. А уж когда Георгий вернётся, то и приданое ей соберёт и замуж её выдаст. А как вы думали?! Он мне это пообещал: "Я тебя, мамочка, не брошу, и дочку твою буду поддерживать!" – Вот! Так мне и сказал, дай-то бог ему здоровья!

Мама имела в виду меня, и обещание такое я ей действительно давал, но произошло это ещё в моём далёком детстве, задолго до всех этих событий.

В те годы мать подолгу трудилась в полях на непосильных, почти каторжных работах, стараясь прокормить всех нас вместе с нашей первой приёмной сестрой. На каникулах я неотлучно находился рядом, сопровождал её, играя где-то поблизости, пока она копала и полола почти целыми сутками, не разгибаясь. Как-то раз мы среди дня возвращались с поля, мама была вынуждена сделать перерыв из-за чрезвычайной жары, в которую почувствовала себя так плохо, что чуть было не потеряла сознание. По дороге нас застал жуткий ливень, какие случаются после палящего зноя, когда крепко мáрит, по привычному выражению наших селян. Мы были уже невдалеке от дома, нам оставалось перейти горную речушку, но из-за дождя она наполнилась и угрожающе бур-

лила. Мама хотела взять меня к себе на плечи, но я наотрез отказался:

– Да ты ж чуть было сама в обморок не рухнула, нешто меня удержишь?!

Ещё прежде, чем мама попыталась поймать меня за руку, я деловито поторопился вброд. Я настолько был уверен в собственных силах, что даже осознать до конца не успел, как стремительный поток воды вырвал из-под моих ног землю и понёс меня вниз по течению, словно ореховую скорлупу.

Душераздирающий крик моей матери – это все, что мне запомнилось о том мгновении. Мама бросилась в реку вслед за мною. Каким чудом мы не утопили вдвоём – до сих пор остается для меня загадкой. Этот мутный клокочущий дождевой поток всегда пугал меня своим зловещим и отталкивающим видом: когда в народе говорят, что “унесло и след простыл”, – это точно про нашу речку.

Вымотанная тяжелейшими работами под палящим солнцем, обессилившая и обморочно слабая, в своем длинном и тяжёлом женском платье, способном утопить даже опытного пловца, мама, не задумываясь, подвергла себя смертельной опасности и кинулась спасать ребёнка, которым ещё совсем недавно, казалось, она была готова пожертвовать ради спасения своей умирающей дочери.

Когда мы добрались до дома, я выглядел ещё измождённым и болезненно-усталым. Мама наконец сняла меня с плеч и стала переодевать в сухие одежды. Вместо объяснений и

извинений за произошедшее, я решительно заявил ей:

– Мама, тебе больше не надо работать!

– И кто ж тогда будет вас кормить, коли я перестану работать? – снисходительно вздыхая, спросила она.

– Я, мамочка, я! – поспешил я её заверить по-детски отчаянно и немного куражась.

– А нашу приемную девочку?

– И её тоже!

Мамины глаза ласково улыбнулись моему звонкому детскому задору, с которым я пронзительно хрипел, наглотавшись в реке воды.

– Давай ты сначала себя прокормишь, а уж потом будет видно, – уже со всей серьёзностью и твёрдым голосом произнесла она, прекращая разговор.

Не так уж много времени прошло с того удивительного случая, и вот настал час моих приготовлений и сборов на учёбу в городскую ремесленную школу. Мама, естественно, уже вряд ли помнила о нашем с ней разговоре, зато я не мог его позабыть: самозабвенная материнская жертва подарила мне вторую жизнь, и я остро чувствовал свой сыновий долг, потому трепетно хранил в сердце своё обещание, а по мере взросления все больше и больше ощущал в себе эту острую потребность исполнить данное мной слово.

– Не плачь, мамочка, – успокаивал я её, прощаясь, – я уеду и заработаю много денег. С этого дня тебе не придется работать – я буду кормить тебя и твою приемную дочку! Вот

увидишь!

Я тогда даже представления не имел о том, что десятилетний ребенок не то что свою мать, себя самого не в состоянии прокормить. И уж тем более предположить не мог, сколько ещё страданий выпадет на её долю, сколько горечи придется ей вкусить из-за моих странствий, которыми я по наивности своей рассчитывал дать маме передышку и принести покой в её многотрудную жизнь.

Но вышло-то всё по-другому: долгие годы я не только помощи не сумел ей прислать, но даже маленькой записки не удосужился передать. Она ждала от меня хоть каких-нибудь вестей, выпрашивая обо мне чуть ли не у каждого случайного прохожего!

Некоторые рассказывали ей, будто слышали от других про мои невзгоды и тяготы, про многие бедствия, что мне пришлось пережить в большом городе, а оттого и вынужден я был принять османское подданство.

– Да пускай языком своим подавится, кто такие сплетни разносит! – не сдерживая эмоций, отвечала им мать. – Да не может того быть, чтоб такое и про моего сына! Но возвращаясь домой, в волнении и со слезами молилась обо мне перед святыми иконами, чтобы Господь просветил, наставил меня на путь истинный и я вернулся бы к отеческому благочестию.

Доводилось ей слышать и страшные истории про то, как у берегов Кипра потерпел крушение корабль, и отныне вы-

нужден я скитаться в грязных лохмотьях по чужой земле, побираться и бродяжничать в поисках подаяния.

– Да горят они ярким пламенем! – сердилась мать. – Это они от зависти своей гнусной чушь такую мелят. Сын-то мой в ремесле много преуспел, а теперь в Иерусалим ко гробу Господню отправлен настоящим наукам обучаться.

Но чуть погода она с отчаянием и надеждой ходила по бездомным и попрошайкам, расспрашивая их о потерпевших крушение, тщетно пытаясь обнаружить среди них своё потерянное дитя или, на худой конец, оказать несчастному бродяге хоть небольшое вспоможение, веруя в то, что и мне, её сыну, там, в далёкой чужбине, поспеет помощь из чьих-то рук.

Но всякий раз, когда дело касалось её приёмной дочери, мама пренебрегала своими сомнениями, горечью и унижением, что ей пришлось из-за меня испытать, стыдила моих братьев, напоминая им о том, как наступит момент, и вернусь я с приданым для сестры, как выдам её замуж со всеми почестями и достоинством:

– А что вы думали?! Мне это мой сын пообещал! Дай бог ему здоровья!

К счастью, те дурные новости, что приходилось выслушивать маме не были правдой, и когда, наконец, после долгого отсутствия я вернулся в родной дом, у меня появилась возможность исполнить данное ей обещание, хотя по причине её скромного и незамысловатого быта для этого потребова-

лась лишь самая малость. Однако, вопреки её ожиданиям, к её новой приёмной дочке я совсем не был расположен, наоборот, с первых же минут проявил полное равнодушие и даже неприятие.

По правде сказать, я вовсе не был против этой её слабости и столь странной материнской привязанности к чужой девочке – мне это казалось вполне понятным и даже находило сочувствие в моей душе. Я и сам ни о чём так не мечтал, пожалуй, как, вернувшись домой, повстречаться со своей приёмной сестрой. Мне живо представлялся её добрый, весёлый нрав и нежная сестринская забота, которой она сумела бы изгнать прочь неприятный осадок от одиночества и мытарств, что мне пришлось пережить на чужбине. В то же самое время я питал надежду впечатлить сестру рассказами об удивительных путешествиях и странах, о своих достижениях и тем, что готов ей преподнести любой подарок на её вкус – всё, чего она ни пожелает! А главное, быть рядом, сопровождать её повсюду, собрать ей достойное приданое и наконец радоваться и танцевать в день праздника на её роскошной свадьбе.

Сестра мне представлялась прекрасной и обаятельной девушкой, умной и одарённой, внимательной, образованной и рукодельной, украшенной многими-многими добродетелями. За годы моих странствий мне не раз посчастливилось встречать таких в семьях горожан. Но что же вдруг вместо всего этого я обнаружил у нас дома?! Моя новая приёмная

сестра была ещё совсем мала, очень болезненна, некрасива собой, весьма недружелюбна, но страшнее всего было её слабоумие, настолько очевидное, что с первого же момента вызвала у меня острую неприязнь.

– Очень прошу, верни её обратно, – начал я уговаривать маму, – отдай Катерину назад, если мы ещё тебе дороги. Заверяю тебя, я обещаю, что найду тебе в столице красивую, умную девочку, которая станет душой и украшением нашего дома!

Не скупясь на восторженные эпитеты, я пустился расписывать ей сиротку, что собирался привести, и отчаянно убеждал, что именно такая, она станет всем нам дорога и по-настоящему близка.

Взглянув на маму, я с удивлением обнаружил, что по её бледным щекам текли редкие слёзы, а смиренный её взгляд был полон удручения и тихой скорби.

– Эх, а я так надеялась, что уж хотя бы ты полюбишь Катерину, – произнесла она разочарованно, – но теперь понимаю, как ошибалась! Ты, как и твои братья, – им, видишь ли, она совсем не нужна, а ты себе другую сестру заметил! А чем же тебе эта виновата, что такой вот уродилась?! Ну а если б наша Анюта была дурнушкой и слаба умом, ты б её тоже из дому выставил, а взял бы новую – умную и красивую?!

– Ну что ты, мама, такое говоришь! Конечно же нет! – выпалил я. – Она твоим родным ребёнком была, как и я. А эта – кто она тебе? Она же всем нам чужая!

– Нет! – уже навзрыд прошептала мама, но тут же совладала с собой. – Нет, не чужая она мне! Это мой ребёнок! Ей только три месяца было, когда я приняла её от умирающей матери. Малышка от слёз надрывалась, а я ей грудь свою давала, чтоб хоть чуточку бедную успокоить. И в пелёнки ваши кутала и в кроватке вашей убаюкивала. Это моё кровное дитя и ваша сестра!

Последние свои слова она произнесла настолько твёрдо и непреклонно, а посмотрела на меня таким решительным взглядом, готовая дать отпор, что я и не осмелился что-либо возражать. И мама вновь безрадостно опустила глаза и продолжила вслух голосом болезненным и подавленным:

– Ничего тут не поделаешь! А мне разве не хотелось, чтобы она красивой была?! Нет, не дождусь я никогда искупления! Это Господь такой её сделал, чтобы терпение моё испытать, а там и прощения мне наконец заслужить. Слава Богу за всё!

После этих слов, мама опять неслышно зарыдала, оставаясь неподвижной ещё некоторое время при нашем полном обоюдном молчании.

– Мама, тебя что-то тяготит, мучит. Прошу, не сердись! – осторожно обратился я к ней и поцеловал её руку, чувствуя потребность извиниться.

– Да! – неожиданно ответила она. – Есть у меня на сердце тяжёлая тайна – очень тяжёлая, сынок! До сих пор об этом только своему духовнику и могла поведать. А ты и

впрямь взрослый совсем стал, выучился, а совет зачастую даже получше любого священника можешь дать. Прикрой, будь добр, дверь и выслушай, что расскажу тебе. Глядишь, что-то утешительное мне подскажешь, а то просто сумеешь меня понять, да и Катерина вдруг не чужой тебе покажется.

Эти слова и то, как они были произнесены, заставили нервной оторопью содрогнуться моё сердце: что же это за тайна у матери, и почему только мне, а не братьям? Обо всём, что произошло в моё отсутствие, мы уж поговорили. И о жизни её прошлой мы ни раз слушали от неё же самой. Что же такое она до сих пор скрывала от нас и о чём только духовнику своему могла открыться?

Испуг и переживания смешались во мне, и когда я вновь присел рядом с ней, ноги мои размякли и колени пронзала дрожь, а мать сидела, повинно склонив голову, словно перед строгим судьёй и под бременем тяжкого преступления.

– Ты ведь хорошо Анюту нашу помнишь? – спросила она меня после непродолжительного молчания.

– Конечно, мама! Разве ж возможно забыть – моя родная сестра у меня на глазах скончалась.

– Да, я тоже помню! – с сокрушением пробормотала мать и снова задумалась. – Она не была моей единственной дочерью! Ты на четыре года младше Михаила, а ему только годик был, когда я родила свою первую дочку.

Это случилось в то же лето, когда наш мельник Фотий женился. Покойник отец очень просил его подождать со сва-

дьбой сорок дней, чтоб и я после родов тоже могла присутствовать свидетелем на его венчании – уж больно хотелось порадовать меня праздником, вытащить в люди. Бабушка твоя не очень-то меня и пускала, пока я в девицах ходила.

Утром мы жениха с невестой повенчали, а вечером нас на свадебное застолье пригласили: музыканты без усталости играли, во дворе длинные столы с закусками накрыли, гости молодым вином в избытке угощались – даже с окрестных сёл народ поздравлять собрался, всем миром гуляли и веселились. А отец твой раззадорился, настроение приподнятое – он мне частенько таким вспоминается. Подходит, платок мне свой протягивает – на перепляс вызывает. Когда твой отец хороводил, сердце мое млело и таяло, а по молодости я и сама танцевать очень любила. Ну а как мы в круг парой вышли, так и все остальные за нами потянулись, но мы с твоим отцом дольше и красивее всех танцевали.

Уже ближе к полуночи было, когда я отца в сторонку отвела и напомнила ему тихонечко:

– Дочка вскоре проснётся, и уж грудь ныть начала – мне никак нельзя дольше оставаться. А здесь при всех я и покормить толком не смогу, да и в платье моем праздничном совсем мне не сподручно. Ты, говорю, ежели хочешь, оставайся, ещё с людьми побудешь, а мы с ребёнком домой пойдём.

– Да ты не переживай так, жена – ласково приобняв за плечи, стал успокаивать меня отец. Давай-ка ещё и этот танец вместе, а потом сразу же домой. И я тоже уж подхмелев-

ши, пора мне и честь знать.

Как закончился танец, мы домой и засобирались. А жених в нашу честь даже музыкантов с нами отправил до развилки проводить – это на полпути до дома, а там уж мы и сами кое-как потихоньку дотащились: впереди с фонарём нам дорогу освещал дворовый, а отец одной рукой люльку обнял, другой меня за руку поддерживал.

– Совсем утомилась, бедная! – всё жалел он меня.

А я и не скрывалась, что тяжело мне было, чего уж тут таиться?!

– И всё же зря я тебя потянул столько танцевать! – не переставал сокрушаться отец. – Ну ты потерпи еще чуточку, и мы уже дома, а постель я сам приготовлю.

– Ничего, родной, – старалась я его успокоить, – уж очень тебя хотелось порадовать, а завтра, бог даст, и отдохну.

И вот мы добрались до дома. Пока отец стелил кровать, я поменяла пелёнки и покормила дочку. Мишуту мы оставляли с сиделкой, и они оба уже спали. Вскоре улеглись и мы. Среди ночи показалось, что дитё заплакало: "Бедняжка! – подумала я, – наверное плохо поела". Поначалу пристроилась у её кроватки, чтобы покормить, но такой уставшей я была, что еле самой усидеть получалось, а держать-то и по-давно не в силах, тогда и решила положить её возле себя, а сама к ней бочком прилегла, дала грудь и тут же забылась сном.

Даже и не знаю, сколько времени потом прошло, но пом-

нится, что лишь только забрезжил рассвет, я собралась её обратно переложить. Беру дитё на руки, и что же – она даже не пошевелится! Разбудила тут же отца, ребёночка распеленали, на ручки и ножки дышали, носик тёрли – ничего! Мёртвой уже была!

– Заспала ты, жена, нашу дочурку! – словно приговором произнёс отец и сам разрыдался.

Комом в груди подступили слёзы, и я истошно и обречённо завывала во весь голос.

– Цыц! Замолчи, прошу! – вдруг набросился на меня отец, больно стиснув твёрдой ладонью рот. Что ты вопишь, королева?! Что разоралась?! Может, хочешь, чтоб соседи к нам сюда толпой сбежались?! Чтобы всем миром тебя ославили: напилась, мол, мать пьяной и ребёнка насмерть задавила?!

Таким страшным мне сделался, прости его господи! Три года как с ним вместе прожили, и худого словечка от него ни разу не слышала, а тут вдруг такое... А ведь как прав был, родимый, да упокоится он с миром! Узнай народ о случившемся, как оно на самом-то деле, – земля у меня под ногами горела бы, и от проклятий людских никогда бы не отмылась.

А что изменилось?! Греху-то, куда ему подеваться?! Как похоронили мы малютку, только из церкви возвратились, уж ничто боле в горе моём сдержать меня не могло.

– Э, да ты молодая ещё, погоди ж – обязательно родишь! – успокаивали меня вокруг. Но времечко-то шло, а детей нам Бог никак не давал. «Вот, пожалуйста, – терзали меня мыс-

ли, – бесплодие послал Господь и не дает деток! Вина на мне тяжёлая: не смогла я уберечь ребёнка! И стыдно было смотреть людям в глаза, и отца твоего я стала побаиваться: поначалу он меня утешал, всё бодрился и виду не показывал, что скорбит, зато потом совсем стих, задумчивым сделался и каким-то обречённым.

Три года пролетело – тяжёлых и безрадостных, кусок хлеба в горле комом застревал. А потом вдруг ты родился – сколько ж ты счастья мне подарил! Только отец-то девочку хотел. Так однажды мне и сказал:

– За парня тебе, Деспина, спасибо! Но мне-то очень девочку хочется!

А как только бабушка отправилась в паломничество к Гробу Господню, я ей с собой приготовила двенадцать вышитых рубашек и три старые золотые монеты – ох, как надеялась, что привезёт она мне разрешительную грамоту об отпущении греха. И вот надо же! В тот месяц, как возвратилась она из Иерусалима с грамотой, понесла я под сердцем нашу Анюту.

– А точно ли девочка?! – всякий раз с удовольствием спрашивала я у бабушки.

– А то сама не видишь, – заверяла меня она. – Оно ж ясно дело – девчурка! Гляди-ка, и в одежды свои не влазишь!

Сколько ж истиной радости приносили мне эти заверения! А как пришел час, и разрешилась я от бремени, а ребёночек и взаправду девочкой оказался – тут уж сердце моё и

впрямь успокоилось. Назвали мы её Анютой – то же имечко дали, как и у первой дочки, чтоб не чувствовалась нам недостача в доме. День и ночь я благодарила Господа, что снял он с меня, грешной, позор мой и освободил от скверны. Как зеницу ока оберегали мы нашу Анюту. А уж как ты, бедный, изводился и ревновал, пока маленьким-то был! Отец твой бедолагой тебя называл – я ведь рано тебя оторвала от груди. А случилось, и ругал он меня, что пренебрегала тобой. Да и моё сердце разрывалось, когда видела, как ты изводишься, но не в силах была совладать с собой и выпустить из рук Анюту! Страшно мне было за неё: а вдруг что приключится. И даже покойный твой отец хоть и ругался на меня, а уж и сам готов был пылиночки с неё сдувать и всякий раз трясся над ней.

И чем больше было нашей ласки, тем меньше в ней здоровья, будто пожалел потом о своём подарочке Господь. Вы ж всегда были розовощёкими непоседами – подвижные и бойкие, а Анюта всё больше тихая, вялая да частенько недужная. Когда я смотрела на неё – всегда такую бледненькую-бледненькую, вспоминалась мне моя первая дочурка, и страшная мысль о том, что погубила я своего ребёнка, мучила и душила меня изнутри до тех пор, пока однажды не померла и она!

Кто сам не испытал такого, никогда не поймёт, как нестерпимо горька эта участь! А уж как помер твой отец, потеряла и я всякую надежду родить ещё дочку. А как душа-то маялась и болела! Я б ушла куда глаза глядят да и пропала бы!

Но вот сподобилась вдруг найти тех родителей, что отдали мне первую девочку на воспитание.

И то истина, что характер выдался у неё скверный, но когда я нянчилась, пеленала и кормила её, мне и вправду представлялось, что это то самое мое кровное дитя, и не потеряла я его вовсе – так и утешалась совесть моя. Недаром повелось, что чужое чадо – испытание, а мне в этом испытании облегчение и утешение от скорбей моих, потому как чем больше маюсь и терзаюсь, тем легче жребий мой у Господа за дитё мною погубленное. А потому, дорогой ты мой, даже и не пытайся уговаривать: не возьму я вместо Катерины другую, пускай та во сто крат красивее и смышленее!

– Нет-нет, что ты, мама! – не выдержал я, – я и не пытаюсь, а после всего, что ты мне рассказала, ты уж прости меня за чёрствость мою. Обещаю тебе полюбить Катерину как родную сестру и ни одним словечком не обижу её.

– Спаси тебя Господь и Богородица! – облегченно вздохнув, произнесла мама. – Ну ты же видишь, как мучилось сердце моё по несчастной, и не хочется, чтоб издевались над ней. А то я и сама не понимаю?! Но так это ж судьба такая! Значит, Богу было угодно! Да, пускай некрасивая, пускай неуклюжая, но раз уж взвалила я на себя эту ношу – куда ж мне теперь?!

Глубокое впечатление оставило в моей душе матернее признание. На многое открылись вдруг глаза, и многое мне стало понятно: и даже то, что раньше казалось пустым суеве-

рием, а то и странной её одержимостью. Страшное несчастье такой нестерпимой болью изранило всю жизнь её – человека набожного, добросердечного и простого. День ото дня её терзала эта тайна, и в горе, и в радости её непрестанно истязало ощущение греха, душа томилась потребностью очиститься и мучилась от неосуществимости этого. В течение двадцати восьми лет, столь болезненных и невыносимых, жила и страдала несчастная женщина, потеряв всякий покой от неутрачиваемых и щемящих сердце угрызений совести. Как чудовищно беспощаден этот нескончаемый ад!

С того момента, как услышал я эту горькую историю, я всеми силами пытался найти подходящие для утешения слова, мне очень хотелось её успокоить, представить всё прошлое непреднамеренным, невольным происшествием, убедить её в безграничной божественной щедрости и милости: не судом человеческим решает и смотрит Бог, а по помыслам нашим судит! Некоторое время я даже был уверен, что старания мои не были напрасными.

Как-то после почти двух лет разлуки мама приехала навестить меня в Константинополь, и мне показалось, что пришло самое время сделать для неё что-то особенное. Гостил я тогда в одном из самых примечательных домов города, где мне посчастливилось познакомиться с патриархом Иоакимом Вторым. Сопровождая как-то Святейшего на прогулке по тихим тропинкам тенистого сада, я рассказал ему свою историю и попросил помощи: высокий его сан, непрека-

емый пасторский авторитет и удивительный дар убеждения должны были сподвигнуть мою маму забыть наконец о своих переживаниях и прекратить изводить себя мучительными воспоминаниями. Почтенный старец подбодрил меня, пообещав мне всяческую с его стороны поддержку.

Так, через некоторое время мне удалось отвести маму на исповедь к его Святейшеству. Общение между ними продолжалось очень долго, а по жестикуляции и доносившимся до меня обрывкам фраз я понял, что Патриарху пришлось употребить всю силу своего красноречия и рассудительности, чтобы добиться желаемого результата.

Восторг мой был неописуем: прощаясь с его Святейшеством, мама вышла из патриаршей приемной в таком приподнятом настроении и с легкостью, будто освободилась она разом от тяжелейшего камня, что грузом висел на душе и постоянно давил её унынием и безысходностью, а теперь в выражении её лица чувствовалась искренняя признательность и умиротворение.

Наконец мы добрались до дома, там мать вытащила из-за пазухи маленький крестик – подарок Патриарха – бережно поцеловала и, не выпуская из рук, всё продолжала его тереть, отрешённо уставившись в пустоту и ещё больше погружаясь в раздумья.

– Вот видишь, – начал было обрадованно я, решившись первым потревожить затянувшуюся тишину, – патриарх же очень хороший человек. Надеюсь, и сердце твое успокои-

лось!

Мать не отвечала.

– Ты ничего мне не расскажешь? – после недолгой паузы смущенно спросил я.

– Даже и не знаю, что тебе ответить, сынок! – с некоторым сомнением откликнулась мать. – Патриарх мудрый, конечно, и точно святой человек, знает о божественной воле и промысле, он столько молится о судьбах и грехах всего мира. Но ведь он же монах! Разве ж дано ему понять, что это такое, когда ты погубил своё собственное дитя?!

Глаза матери снова покраснелись от набежавших слез, а я замолчал, так и не найдя достойного ответа.

1883 г.